На краю света

Автор:
Николай Лесков

На краю света

Николай Семёнович Лесков

Николай Лесков

На краю света

Глава первая

Ранним вечером, на святках, мы сидели за чайным столом в большой голубой гостиной архиерейского дома. Нас было семь человек, восьмой наш хозяин, тогда уже весьма престарелый архиепископ, больной и немощный. Гости были люди просвещенные, и между ними шел интересный разговор о нашей вере и о нашем неверии, о нашем проповедничестве в храмах и о просветительных трудах наших миссий на Востоке. В числе собеседников находился некто флота-капитан Б., очень добрый человек, но большой нападчик на русское духовенство. Он твердил, что наши миссионеры совершенно неспособны к своему делу, и радовался, что правительство разрешило теперь трудиться на пользу слова божия чужеземным евангелическим пасторам. Б. выражал твердую уверенность, что эти проповедники будут у нас иметь огромный успех не среди одних евреев и докажут, как два и два – четыре, неспособность русского духовенства к миссионерской проповеди.

Наш почтенный хозяин в продолжение этого разговора хранил глубокое молчание: он сидел с покрытыми пледом ногами в своем глубоком вольтеровском кресле и, по-видимому, думал о чем-то другом; но когда Б.

кончил, старый владыка вздохнул и проговорил:

– Мне кажется, господа, что вы господина капитана напрасно бы стали оспаривать; я думаю, что он прав: чужеземные миссионеры положительно должны иметь у нас большой успех.

– Я очень счастлив, владыко, что вы разделяете мое мнение, – отвечал капитан Б. и, сделав вслед за сим несколько самых благопристойных и тонких комплиментов известной образованности ума и благородству характера архиерея, добавил:

– Ваше высокопреосвященство, разумеется, лучше меня знаете все недостатки русской церкви, где, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные и очень добрые, – я этого никак не стану оспаривать, но они едва ли понимают Христа. Их положение и прочее… заставляет их толковать всё… слишком узко.

Архиерей посмотрел на него, улыбнулся и ответил:

– Да, господин капитан, скромность моя не оскорбится признать, что я, может быть, не хуже вас знаю все скорби церкви; но справедливость была бы оскорблена, если бы я решился признать вместе с вами, что в России г?спода Христа понимают менее, чем в Тюбингене, Лондоне или Женеве.

– Об этом, владыко, еще можно спорить.

Архиерей снова улыбнулся и сказал:

– А вы, я вижу, охочи спорить. Что с вами делать! От спора мы воздержимся, а беседовать – давайте.

И с этим словом он взял со стола большой, богато украшенный резьбою из слоновой кости, альбом и, раскрыв его, сказал:

– Вот наш господь! Зову вас посмотреть! Здесь я собрал много изображений его лица. Вот он сидит у кладезя с женой самаритянской – работа дивная; художник, надо думать, понимал и лицо и момент.

– Да; мне тоже кажется, владыко, что это сделано с понятием, – отвечал Б.

– Однако нет ли здесь в божественном лице излишней мягкости? не кажется ли вам, что ему уж слишком все равно, сколько эта женщина имела мужей и что нынешний муж – ей не муж?

Все молчали; архиерей это заметил и продолжал:

– Мне кажется, сюда немного строгого внимания было бы чертой нелишнею.

– Вы правы может быть, владыко.

– Распространенная картина; мне доводилось ее часто видеть, по преимуществу у дам. Посмотрим далее. Опять великий мастер. Христа целует здесь Иуда. Как кажется вам здесь господень лик? Какая сдержанность и доброта! Не правда ли? Прекрасное изображение!

– Прекрасный лик!

– Однако не слишком ли много здесь усилия сдерживаться? Смотрите: левая щека, мне кажется, дрожит, и на устах как бы гадливость.

– Конечно, это есть, владыко.

– О да; да ведь Иуда ее уж, разумеется, и стоил; и раб и льстец – он очень мог ее вызвать у всякого… только, впрочем, не у Христа, который ничем не брезговал, а всех жалел. Ну, мы этого пропустим; он нас, кажется, не совсем удовлетворяет, хотя я знаю одного большого сановника, который мне говорил, что он удачнее этого изображения Христа представить себе не может. Вот вновь Христос, и тоже кисть великая писала – Тициан: перед господом стоит коварный фарисей с динарием. Смотрите-ка, какой лукавый старец, но Христос… Христос… Ох, я боюсь! смотрите: нет ли тут презрения на его лице?

– Оно и быть могло, владыко!

– Могло, не спорю: старец гадок; но я, молясь, таким себе не мыслю г?спода и думаю, что это неудобно? Не правда ли?

Мы отвечали согласием, находя, что представлять лицо Христа в таком выражении неудобно, особенно вознося к нему молитвы.

– Совершенно с вами в этом согласен и даже припоминаю себе об этом спор мой некогда с одним дипломатом, которому этот Христос только и нравился; но, впрочем, что же?.. момент дипломатический. Но пойдемте далее: вот тут уже, с этих мест у меня начинаются одинокие изображения господа, без соседей. Вот вам снимок с прекрасной головы скульптора Кауера: хорош, хорош! – ни слова; но мне, воля ваша, эта академическая голова напоминает гораздо менее Христа, чем Платона. Вот он, еще… какой страдалец… какой ужасный вид придал ему Метсу!.. Не понимаю, зачем он его так избил, иссек и искровянил?.. Это, право, ужасно! Опухли веки, кровь и синяки… весь дух, кажется, из него выбит, и на одно страдающее тело уж смотреть даже страшно… Перевернем скорей. Он тут внушает только сострадание, и ничего более. – Вот вам Лафон, может быть и небольшой художник, да на многих нынче хорошо потрафил; он, как видите, понял Христа иначе, чем все предыдущие, и иначе его себе и нам представил: фигура стройная и привлекательная, лик добрый, голубиный взгляд под чистым лбом, и как легко волнуются здесь кудри: тут локоны, тут эти петушки, крутясь, легли на лбу. Красиво, право! а на руке его пылает сердце, обвитое терновою лозою. Это «Sace coeur», что отцы иезуиты проповедуют; мне кто-то сказывал, что они и вдохновляли сего господина Лафона чертить это изображение; но оно, впрочем, нравится и тем, которые думают, что у них нет ничего общего с отцами иезуитами. Помню, мне как-то раз, в лютый мороз, довелось заехать в Петербурге к одному русскому князю, который показывал мне чудеса своих палат, и вот там, не совсем на месте – в зимнем саду, я увидел впервые этого Христа. Картина в рамочке стояла на столе, перед которым сидела княгиня и мечтала. Прекрасная была обстановка: пальмы, аурумы, бананы, щебечут и порхают птички, и она мечтает. О чем? Она мне сказала: «ищет Христа». Я тогда и всмотрелся в это изображение. Действительно, смотрите, как он эффектно выходит, или, лучше сказать, износится, из этой тьмы; за ним ничего: ни этих пророков, которые докучали всем, бегая в своих лохмотьях и цепляясь даже за царские колесницы, – ничего этого нет, а только тьма… тьма фантазии. Эта дама, – пошли ей бог здоровья, – первая мне и объяснила тайну, как находить Христа, после чего я и не спорю с господином капитаном, что иностранные проповедники у нас не одним жидам его покажут, а всем, кому хочется, чтобы он пришел под пальмы и бананы слушать канареек. Только он ли туда придет? Не пришел бы под его след кто другой к ним? Признаюсь вам, я этому щеголеватому канареечному Христу охотно предпочел бы вот эту жидоватую главу Гверчино, хотя и она говорит мне только о добром и восторженном

раввине, которого, по определению господина Ренана, можно было любить и с удовольствием слушать… И вот вам сколько пониманий и представлений о том, кто один всем нам на потребу! Закроем теперь всё это, и обернитесь к углу, к которому стоите спиною: опять лик Христов, и уже на сей раз это именно не лицо, – а лик. Типическое русское изображение господа: взгляд прям и прост, темя возвышенное, чт?, как известно, и по системе Лафатера означает способность возвышенного богопочтения; в лике есть выражение, но нет страстей. Как достигали такой прелести изображения наши старые мастера? – это осталось их тайной, которая и умерла вместе с ними и с их отверженным искусством. Просто – до невозможности желать простейшего в искусстве: черты чуть слегка означены, а впечатление полно; мужиковат он, правда, но при всем том ему подобает поклонение, и как кому угодно, а по-моему, наш простодушный мастер лучше всех понял — кого ему надо было написать. Мужиковат он, повторяю вам, и в зимний сад его не позовут послушать канареек, да чт? беды! – где он каким открылся, там таким и ходит; а к нам зашел он в рабьем зраке и так и ходит, не имея где главы приклонить от Петербурга до Камчатки. Знать ему это нравится принимать с нами поношения от тех, кто пьет кровь его и ее же проливает. И вот, в эту же меру, в какую, по-моему, проще и удачнее наше народное искусство поняло внешние черты Христова изображения, и народный дух наш, может быть, ближе к истине постиг и внутренние черты его характера. Не хотите ли, я вам расскажу некоторый, может быть не лишенный интереса, анекдот на этот случай.

– Ах, сделайте милость, владыко; мы все вас просим об этом!

– А, просите? – так и прекрасно: тогда и я вас прошу слушать и не перебивать, что я начну сказывать довольно издали.

Мы откашлянулись, поправились на местах, чтобы не шевелиться, и архиерей начал.

Глава вторая

– Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лет назад: это будет относиться к тому времени, когда я еще, можно сказать довольно молодым человеком, был поставлен во епископы, в весьма отдаленную сибирскую

епархию. Я был от природы нрава пылкого и любил, чтобы у меня было много дела, а потому не только не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему назначению. Слава богу, думал я, что мне хотя для начала-то выпало на долю не только ставленников стричь да пьяных дьячков разбирать, а настоящее живое дело, которым можно с любовию заняться. Я разумел именно то наше малоуспешное миссионерство, о котором господин капитан изволил вспомнить в начале нашей сегодняшней беседы. Ехал я к своему месту, пылая рвением и с планами самыми обширными, и сразу же было и всю свою энергию остудил и, что еще важнее, – чуть-чуть было самого дела не перепортил, если бы мне не дан был спасительный урок в одном чудесном событии.

– Чудесное! – воскликнул кто-то из слушателей, позабыв условие не перебивать рассказа; но наш снисходительный хозяин за это не рассердился и отвечал:

– Да, господа, обмолвись словом, могу его не брать назад: в том, что со мною случилось и о чем начал вам рассказывать – не без чудес, и чудеса эти начали мне являться чуть не с самого первого дня моего прибытия в мою полудикую епархию. Первое дело, с которого начинает свою деятельность русский архиерей, куда бы он ни попал, конечно есть обозрение внешности храмов и богослужения, – к этому обратился и я: велел, чтобы везде были приняты прочь с престолов лишние Евангелия и кресты, благодаря которым эти престолы у нас часто превращаются в какие-то выставки магазина церковной утвари. Заказал себе столько ковриков с орлецами, сколько нужно было, чтобы они лежали на своих местах, чтобы не шмыгали у меня с ними под носом, подбрасывая их под ноги. С усилием и под страхом штрафов воздерживал дьяконов не ловить меня во время служения за локти и не забираться рядом со мною на горнее место, а наипаче всего не наделять тумаками и подзагривками бедных ставленников, у которых оттого, после приятия благодати святого духа, недели по две и загорбок и шея болит. И никто из вас мне не поверит, сколько все это стоит труда и какие приносит досады, особенно человеку нетерпеливому, каким я тогда был и остаюсь таковым же, к моему стыду, отчасти и доселе. Окончилось с этим, – надо было приниматься за второе архиерейское дело первой важности: удостовериться, умеют ли причетники читать хоть уж если не по писаному, то по крайней мере по печатному. Эти экзамены долго меня заняли и сильно досаждали мне, а порою и смешили. Безграмотный, или по крайней мере «неписьменный», дьячок или пономарь и теперь еще, пожалуй, отыщется в селе или в уездном городишке и внутри России, что и оказалось, когда им, несколько лет тому назад, пришлось в первый раз расписываться в получении жалованья. Но тогда, – во время ?но, да еще в Сибири, – это было явление самое обыкновенное. Я их велел учить; они на меня, разумеется, плакались и прозвали

меня «лютым»; приходы жаловались, что нет чтецов, что архиерей «церкви разоряет». Чт? тут делать! я стал отпускать на места таких дьячков, которые хоть на память читать умели, и – о боже! – что за людей я видел! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже… какие-то одержимые. Один вместо «приидите, поклонимся Цареви нашему Богу», закрыв глаза, как перепел, колотил: «плитимбоу, плитимбоу» и заливался этим так, что удержать его было невозможно. Другой – уже это именно был одержимый, – он так искусился в скорохвате, что с каким-нибудь известным словом у него являлась своя ассоциация идей, которой он никак не мог не подчиняться. Такое слово для него было, например, «на небеси». Начнет читать: «Иже на всякое время, на всякий час на небеси…» и вдруг у него что-то в голове защелкнет, и он продолжает: «да святится Имя Твое, да приидет царствие». Что я с этим тираном ни мучился, все было тщетно! Велел ему по книге читать, – читает: «Иже на всякое время, на всякий час на небеси», но вдруг закрыл книгу и пошел: «да святится имя Твое», и залопотал до конца, и возглашает: «от лукавого». Только тут и остановиться мог: оказалось, что он не умеет читать. За грамотностью дьячков очередь переходит к благонравию семинаристов, и опять начинаются чудеса. Семинария была до того распущена, воспитанники пьянствовали и до того бесчинствовали, что, например, один философ при инспекторе, кончая вечерние молитвы, прочел: «упование мое – Отец, прибежище мое – Сын, покров мой – Дух Святый: Троица Святая, – мое вам почтение»; а в богословском классе другая история: один после обеда благодарит, «яко насытил земных благ», и просит не лишить и «небесного царствия», а ему из толпы кричат: «Свинья! нажрался, да еще в царство небесное просишься».

Надо было подыскать как можно скорее инспектора, подходящего под мой дух, – тоже лютого; при большой спешности и небольшом выборе попался такой: лютости в нем оказалось довольно, но уже зато ничего другого не спрашивай.

– Я, – говорит, – ваше преосвященство, приму все это по-военному, чтобы сразу…

– Хорошо, – отвечаю, – примись по-военному…

Он и принялся и с того начал, что молитвы распорядился не читать, но петь хором, дабы устранить всякие шалости, и то петь по его команде. Взойдет он при полном молчании и, пока не скомандует, все безмолвствуют; скомандует: «Молитву!» и запоют. Но этот уже очень «по-военному» уставил; скомандует: «Молит-в-у-у!» Семинаристы только запоют «Очи всех, Господи, на Тя упов…» – он на половине слова кричит: «Ст-о-ой!» и подзывает одного:

– Фролов, поди сюда!

Тот подходит.

– Ты Багреев?

– Нет-с, я Фролов.

– А-а: ты Фролов?! Отчего же это я думал, что ты Багреев?

Опять хохот, и опять ко мне жалобы. Нет, вижу – не годится этот с военными приемами, и нашел кое-как цивилиста, который был хотя не столь лют, но благоразумнее действовал: перед учениками притворялся самым слабым добряком, а мне все ябедничал и повсюду рассказывал ужасы о моем зверстве. Я это знал и, видя, что эта мера оказывается действительною, не претил его системе.

Насилу этих своею «лютостию» в повиновение привел, в зрелом возрасте чудеса пошли: доносят мне, что в соборного протоиерея воз сена в середину въехал и не может выехать. Посылаю узнавать, говорят: действительно так. Протопоп был тучный, после обедни крестил в купеческом доме и вдоволь облепихою угостился, а что от этой облепихи, что от другой тамошней ягоды, дикуши, хмель самый тяжелый и глупый. То и с этим сталось: пришел домой, часа четыре заснул, встал и, выпив жбан квасу, лег грудью на окно, чтобы поговорить с кем-то, кто внизу стоял, и вдруг… воз с сеном в него въехал. Ведь все это глупое такое, что даже противно сделается, а разделается, так, пожалуй, еще противней станет. На другой день келейник подает мне сапоги и докладывает, что «слава богу, говорит, из отца протопопа воз с сеном уже выехал».

– Очень рад, – говорю, – таковой радости; но подай-ка мне эту историю обстоятельно.

Оказывается, что протопоп, имевший двухэтажный дом, лег на окно, под которым были ворота, и в них в эту минуту въехал воз с сеном, причем ему, от облепихи и от сна до одури, показалось, что это в него въехало. Невероятно, но, однако, так было: credo, quia absurdum.[1 - Верю, потому что нелепо (Лат.)]

Как же сего дивотворного мужа спасли?

А тоже дивотворно: встать он ни за что не соглашался, потому что в нем воз сидит; лекарь не находил лекарства против сего недуга. Тогда шаманку призвали; та повертелась, постучала и велела на дворе воз сена наложить и назад выехать; больной принял, что это из него выехало, и исцелел.

Ну, после этого делайте с ним что хотите, а он свое уже сделал: и людей насмешил, и шаманку призвал идольскими чарами его пользовать; а такие вещи там не в мешочке лежат, а по дорожке бежат. «Что-де попы, – они ничего не значат и сами наших шаманов зовут шайтана отгонять». И идут себе да идут этакие глупости. Долго я приправлял, как мог, сии дымящие лампады, и приходская часть мне через них невыносимо надокучила; но зато настал давно желанный и вожделенный миг, когда я мог всего себя посвятить трудам по просвещению диких овец моей паствы, пасущихся без пастыря.

Забрал я себе все касающиеся этой части бумаги и присел за них вплотную, так что и от стола не отхожу.

Глава третья

Ознакомясь с миссионерскими отчетностями, я остался всею деятельностью недоволен более, чем деятельностью моего приходского духовенства: обращений в христианство было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая доля этих обращений значилась только на бумаге. На самом же деле одни из крещеных снова возвращались в свою прежнюю веру – ламайскую или шаманскую; а другие делали из всех этих вер самое странное и нелепое смешение: они молились и Христу с его апостолами, и Будде с его буддисидами да тенгеринами, и войлочным сумочкам с шаманскими ангонами. Двоеверие держалось не у одних кочевников, а почти и повсеместно в моей пастве, которая не представляла отдельной ветви какой-нибудь одной народности, а какие-то щепы и осколки бог весть когда и откуда сюда попавших племенных разновидностей, бедных по языку и еще более бедных по понятиям и фантазии. Видя, что все, касающееся миссионерства, находится здесь в таком хаосе, я возымел об этих моих сотрудниках мнение самое невыгодное и обошелся с ними нетерпеливо сурово. Вообще я стал очень раздражителен, и данное мне

прозвище «лютого» начало мне приличествовать. Особенно испытал на себе печать моего гневливого нетерпения бедный монастырек, который я избрал для своего жительства и при котором желал основать школу для местных инородцев. Расспросив чернецов, я узнал, что в городе почти все говорят по-якутски, но из моих иноков изо всех по-инородчески говорит только один очень престарелый иеромонах, отец Кириак, да и тот к делу проповеди не годится, а если и годится, то, хоть его убей, не хочет идти к диким проповедовать.

– Что это, – спрашиваю, – за ослушник, и как он смеет? Сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю.

Но экклезиарх мне отвечает, что слова мои передаст, но послушания от Кириака не ожидает, потому что это уже ему не первое: что и два мои быстро друг за другом сменившиеся предместника с ним строгость пробовали, но он уперся и одно отвечает:

– «Душу за моего Христа положить рад, а крестить там (то есть в пустынях) не стану». Даже, говорит, сам просил лучше сана его лишить, но туда не посылать. И от священнодействия много лег был за это ослушание запрещен, но нимало тем не тяготился, а, напротив, с радостью нес самую простую службу: то сторожем, то в звонарне. И всеми любим: и братией, и мирянами, и даже язычниками.

– Как? – удивляюсь, – неужто даже и язычниками?

– Да, владыко, и язычники к нему иные заходят.

– За каким же делом?

– Уважают его как-то исстари, когда еще он на проповедь ездил в прежнее время.

– Да каков он был в то, в прежнее-то время?

– Прежде самый успешный миссионер был и множество людей обращал.

– Что же ему такое сделалось? отчего он бросил эту деятельность?

– Понять нельзя, владыко: вдруг ему что-то приключилось: вернулся из степей, принес в алтарь мирницу и дароносицу и говорит: «Ставлю и не возьму опять, доколе не придет час».

– Какой же ему нужен час? что он под сим разумеет?

– Не знаю, владыко.

– Да неужто же вы у него никто этого не добивались? О, роде лукавый, доколе живу с вами и терплю вас? Как вас это ничто, дела касающееся, не интересует? Попомните себе, что если тех, кои ни горячи, ни холодны, господь обещал изблевать с уст своих, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?

Но мой экклезиарх оправдывается:

– Всячески, – говорит, – владыко, мы у него любопытствовали, но он одно отвечает: «Нет, говорит, детушки, это дело не шутка, – это страшное… я на это смотреть не могу».

А что такое страшное, на это экклезиарх не мог мне ничего обстоятельного ответить, а сказал только, что «полагаем-де так, что отцу Кириаку при проповеди какое-либо откровение было». Меня это рассердило. Признаюсь вам, я недолюбливаю этот ассортимент «слывущих», которые вживе чудеса творят и непосредственными откровениями хвалятся, и причины имею их недолюбливать. А потому я сейчас же потребовал этого строптивого Кириака к себе и, не довольствуясь тем, что уже достаточно слыл грозным и лютым, взял да еще принасупился: был готов опалить его гневом, как только покажется. Но пришел к моим очам монашек такой маленький, такой тихий, что не на кого и взоров метать; одет в облинялой коленкоровой ряске, клобук толстым сукном покрыт, собой черненький, востролиценький, а входит бодро, без всякого подобострастия, и первый меня приветствует:

– Здравствуй, владыко!

Я не отвечаю на его приветствие, а начинаю сурово:

– Ты что это здесь чудишь, приятель?

– Как, – говорит, – владыко? Прости, будь милостив: я маленько на ухо туг – не все дослышал.

Я еще погромче повторил.

– Теперь, мол, понял?

– Нет, – отвечает, – ничего не понял.

– А почему ты с проповедью идти не хочешь и крестить инородцев избегаешь?

– Я, – говорит, – владыко, ездил и крестил, пока опыта не имел.

– Да, мол, а опыт получивши, и перестал?

– Перестал.

– Что же сему за причина?

Вздохнул и отвечает:

– В сердце моем сия причина, владыко, и сердцеведец ее видит, что велика она и мне, немощному, непосильна… Не могу!

И с сим в ноги мне поклонился.

Я его поднял и говорю:

– Ты мне не кланяйся, а объясни: что ты, откровение, что ли, какое получил или с самим богом беседовал?

Он с кроткою укоризною отвечает:

– Не смейся, владыко; я не Моисей, божий избранник, чтобы мне с богом беседовать; тебе грех так думать.

Я устыдился своего пыла и смягчился, и говорю ему:

– Так что же? за чем дело?

– А за тем, видно, и дело, – отвечает, – что я не Моисей, что я, владыко, робок и свою силу-меру знаю: из Египта-то языческого я вывесть – выведу, а Чермного моря не рассеку и из степи не выведу, и воздвигну простые сердца на ропот к преобиде духа святого.

Видя этакую образность в его живой речи, я было заключил, что он, вероятно, сам из раскольников, и спрашиваю:

– Да ты сам-то каким чудом в единение с церковью приведен?

– Я, – отвечает, – в единении с нею с моего младенчества и пребуду в нем даже до гроба.

И рассказал мне препростое и престранное свое происхождение. Отец у него был поп, рано овдовел: повенчал какую-то незаконную свадьбу и был лишен места, да так, что всю жизнь потом не мог себе его нигде отыскать, а состоял при некоей пожилой важной даме, которая всю жизнь с места на место ездила и, боясь умереть без покаяния, для этого случая сего попа при себе возила. Едет она – он на передней лавочке с нею в карете сидит; а она в дом войдет – он в передней с лакеями ее ожидает. И можете себе вообразить человека, у которого этакая была вся жизнь! А между тем он, не имея уже своего алтаря, питался буквально от своей дароносицы, которая с ним за пазухою путешествовала, и на сынишку он у этой дамы какие-то крохи вымаливал, чтобы в училище его содержать. Так они и в Сибирь попали: барыня сюда поехала дочь навестить, которая была тут за губернатором замужем, и попа с дароносицей на передней лавочке привезла. Но как путь был далекий, да к тому же еще барыня тут долго оставаться собиралась, то попик, любя сынишку, не соглашался без него ехать. Барыня подумала-подумала – и, видя, что ей родительских чувств не переупрямить, согласилась и взяла с собою и мальчишку. Так он сзади за каретою переехал из Европы в Азию, имея при сем путевым долгом охранять своим присутствием привязанный на запятках чемодан, на котором и самого его привязали, дабы сонный не свалился. Тут и его барыня и его отец умерли, а он остался, за бедностию курса не кончил, в солдаты попал, этап водил. Имея меткий глаз, по приказанию начальства, не целясь, вдогон за каким-то беглым

пулю пустил и без всякого желания, на свое горе, убил того, и с той поры он все страдал, все мучился и, сделавшись негодным к службе, в монахи пошел, где его отличное поведение было замечено, а знание инородческого языка и его религиозность побудили склонить его к миссионерству.

Выслушал я эту простую, но трогательную повесть старика, и стало мне его до жуткости жалко, и чтобы переменить с ним тон, я ему говорю:

– Так, стало быть, это, что подозревают, будто ты чудеса какие-нибудь видел, это неправда? Но он отвечает:

– Отчего же, владыко, неправда?

– Как?.. так ты видел чудеса?

– Кто же, владыко, чудес не видел?

– Однако?

– Что однако? Куда ни глянь – все чудо: вода ходит в облаке, воздух землю держит, как перышко; вот мы с тобою прах и пепел, а движемся и мыслим, и то мне чудесно; а умрем, и прах рассыпется, а дух пойдет к тому, кто его в нас заключил. И то мне чудно: как он наг безо всего пойдет? кто ему крыла даст, яко голубице, да полетит и почиет?

– Ну, это-то, мол, мы оставим другим рассуждать, а ты скажи мне, не виляя умом: не было ли с тобою в жизни каких-либо необычайных явлений или чего иного в сем роде?

– Было отчасти и это.

– Что же такое?

– Очень, – говорит, – владыко, с детства я был взыскан божиею милостию и недостойно получал дважды чудесные заступления.

– Гм? рассказывай.

– Первый раз это было, владыко, в сущем младенчестве. В третьем классе я был еще, и очень мне в поле гулять идти хотелось. Мы, трое мальчишек, пошли у смотрителя рекреацию просить, да не выпросили и решились солгать, а зачинщик всему тому я был. «Давай, говорю, ребята, всех обманем, побежим и закричим: отпустил, отпустил!» Так и сделали; все с нашего слова и разбежались из классов и пошли гулять и купаться да рыбчонку ловить. А к вечеру на меня страх и напал: что мне будет, как домой вернемся? – запорет смотритель. Прихожу и гляжу – уже и розги в лохани стоят; я скорей драла, да в баню, спрятался под полок, да и ну молиться: «Господи! хоть нельзя, чтобы меня не пороть, но сделай, чтобы не пороли!» И так усердно об этом в жару веры молился, что даже запотел и обессилел; но тут вдруг на меня чудной прохладой тихой повеяло, и у сердца как голубок тепленький зашевелился, и стал я верить в невозможность спасения как в возможное, и покой ощутил и такую отвагу, что вот не боюсь ничего, да и кончено! И взял да и спать лег: а просыпаюсь, слышу, товарищи-ребятишки весело кричат: «Кирюшка! Кирюшка! где ты? вылезай скорей, – тебя пороть не будут, ревизор приехал и нас гулять отпустил».

– Чудо, – говорю, – твое простое.

– Просто и есть, владыко, как сама троица во единице – простое существо, – отвечал он и с неописаннейшим блаженством во взоре добавил:

– Да ведь как я, владыко, его чувствовал-то! Как пришел-то он, батюшка мой, отрадненький! удивил и обрадовал. Сам суди: всей вселенной он не в обхват, а, видя ребячью скорбь, под банный полочек к мальчонке подполз в дусе хлада тонка и за пазушкой обитал…

Я вам должен признаться, что я более всяких представлений о божестве люблю этого нашего русского бога, который творит себе обитель «за пазушкой». Тут, что нам господа греки ни толкуй и как ни доказывай, что мы им обязаны тем, что и бога через них знаем, а не они нам его открыли; – не в их пышном византийстве мы обрели его и дыме каждений, а он у нас свой, притоманный и по-нашему, попросту, всюду ходит, и под банный полочек без ладана в дусе хлада тонка проникнет, и за теплой пазухой голубком приоборкается.

– Продолжай, – говорю, – отец Кириак, – о другом чуде рассказа жду.

– Сейчас и про другое, владыко. Это было, как я стал уже дальше от него, помаловернее, – это было, как я сюда за каретою ехал. Взять меня надо было из российского училища и сюда перевести перед самым экзаменом. Я не боялся, потому что первым учеником был и меня бы без экзамена в семинарию приняли; а смотритель возьми да и напиши мне свидетельство во всем посредственное. «Это, говорит, нарочно, для нашей славы, чтобы тебя там экзаменовать стали и увидали, каковых мы за посредственных считаем». Горе было нам с отцом ужасное; а к тому же, хотя отец меня и заставлял, чтобы я дорогою, на запятках сидя, учился, но я раз заснул и, через речку вброд переезжая, все книжки свои потерял. Сам горько плачучи, отец прежестоко меня за это на постоялом дворе выпорол; а все-таки, пока мы до Сибири доехали, я все позабыл и начинаю опять по-ребячьи молиться: «Господи, помоги! сделай, чтобы меня без экзамена приняли». Нет; как его ни просил, посмотрели на мое свидетельство и велели на экзамен идти. Прихожу печальный; все ребята веселые и в чехарду друг через дружку прыгают, – один я такой, да еще другой, тощий-претощий, мальчишка сидит, не учится, так, от слабости, говорит: «лихорадка забила». А я сижу, гляжу в книгу и начинаю в уме перекоряться с господом: «Ну что же? думаю, ведь уж как я тебя просил, а ты вот ничего и не сделал!» И с этим встал, чтобы пойти воды напиться, а меня как что-то по самой середине камеры хлоп по затылку и на пол бросило… Я подумал: «Это, верно, за наказание! помочь-то бог мне ничего не помог, а вот еще и ударил». Ан смотрю, нет: это просто тот больной мальчик через меня прыгнуть вздумал, да не осилил, и сам упал и меня сбил. А другие мне говорят: «Гляди-ка, чужак, у тебя рука-то мотается». Попробовал, а рука сломана. Повели меня в больницу и положили, а отец туда пришел и говорит: «Не тужи, Кирюша, тебя зато теперь без экзамена приняли». Тут я и понял, как бог-то все устроил, и плакать стал… А экзамен-то легкий-прелегкий был, так что я его шутя бы и выдержал. Значит, не знал я, дурачок, чего просил, но и то исполнено, да еще с вразумлением.

– Ах ты, – говорю, – отец Кириак, отец Кириак, да ты человек преутешительный!.. – Расцеловал я его неоднократно, отпустил и, ни о чем более не расспрашивая, велел ему с завтрашнего же дня ходить ко мне учить меня тунгузскому и якутскому языку.

Глава четвертая

Но отступив со своею суровостию от Кириака, я зато напустился на прочих монахов своего монастырька, от коих, по правде сказать, не видал ни Кириакова простодушия и никакого дела на службу веры полезного: живут себе этаким, так сказать, форпостом христианства в краю язычников, а ничего, ленивцы, не делают – даже языку туземному ни один не озаботился научиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Верю, потому что нелепо (Лат.)

Купить: https://tellnovel.com/nikolay-leskov/na-krayu-sveta

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити